

ЭДЕЛЬМАН Д. И.

## К СУБСТРАТНОМУ НАСЛЕДИЮ ЦЕНТРАЛЬНОАЗИАТСКОГО ЯЗЫКОВОГО СОЮЗА

Интенсивные сравнительные исследования последних лет языков индоиранской семьи позволяют не только проследить основные тенденции спонтанного развития их исходного состояния, но и выявить целый ряд интересных «исключений», «отклонений», «аномалий», не мотивированных, как будто, закономерным ходом эволюции этих языков. Часть таких аномалий возникает, по-видимому, благодаря своеобразным «мутациям» системы (ср. перестройку дейктических систем во многих индоиранских языках с трехчленных на двучленные при использовании этимологически различных компонентов; появление здесь разных типов эргативной или эргативообразной конструкции предложения; связанную с этим «инверсию» связки в памирских языках в результате ее контаминации с энклитическими местоимениями и т. п.), часть может быть объяснена конвергенцией и заимствованием элементов из других языков в ходе длительных контактов (например, церебральные в белуджском языке, усвоенные вместе с лексикой, изафетные конструкции в языках, контактирующих с персидским и таджикским и т. п.). Наконец, часть преобразований в группе языков единого ареала (не обязательно ближайше родственных) может быть обусловлена субстратным воздействием. Последнее способно служить и своего рода катализатором для тенденций, потенциально заложенных в прасистеме, но не реализовавшихся в других языках, однако может вызвать изменения и не подразумевавшиеся логикой развития исходной системы.

Анализ такого рода «аномалий» может дать информацию как об истории соответствующих языков, так и о строе языка субстрата — в плане  $\Psi$  его «поверхностных» (формальных) структурных характеристик, и явлений, отражающих его целостный содержательно-типологический облик.

В специальной литературе уже отмечалось наличие во многих индоиранских языках субстратно обусловленных черт на разных уровнях: в фонетике, в словообразовательных и словоизменительных моделях, в синтаксисе, лексике, а также в элементах общей типологической характеристики<sup>1</sup>. В данной статье суммируется совокупность «аномалий», которые могут быть продикутованы субстратным воздействием на генетически не однородные языки единого ареала.

В рассматриваемом ареале, включающем регионы Гиндукуша, Памира, отроги Каракорума и отчасти Гималаев, локализованы языки различной

<sup>1</sup> В. И. Абаев, «О языковом субстрате», «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», IX, М., 1956; е го же, Типология армянского и осетинского языков и кавказский субстрат, сб. «Sprache und Gesellschaft», Jena, 1970; е го же, Armeno-ossetica (Типологические встречи), ВЯ, 1978, 6; В. С. Воробьев-Десятовский, К вопросу о роли субстрата в развитии индоарийских языков, «Советское востоковедение», 1956, 1; Д. И. Эдельман, Основные вопросы лингвистической географии, М., 1968, стр. 53 и сл.; е е же, Структурные аномалии восточноиранских языков и типология субстрата, «Studien zur allgemeinen und vergleichenden Sprachwissenschaft», Jena, 1976.

генетической принадлежности. Это — представители восточноиранских (афганский, или пушту, памирские, мунджанский), западноиранские (белуджский) и два реликтовых иранских языка (парачи и ормури), выявляющих и западные, и восточные черты. Здесь же распространены отдельные индоарийские языки: думаки, так называемые диалекты западного пахари, язык панджаби, по ряду признаков также лэнди (лахнда) и синдхи; дардская подгруппа входит в этот ареал полностью. Сюда относятся и нуристанская (традиционно — «кафирская») группа, составляющая третью (наряду с индоарийской и иранской) ветвь индоиранской семьи<sup>2</sup>. Из неиндоевропейских языков здесь налицо изолированный бурушаски, часть сино-тибетских — гималайских — языков и единичные дравидийские (брагуи и, возможно, отдельные диалекты в Непале). Ряд разноуровневых структурных параллелизмов позволяет применить к этим языкам понятие языкового союза, называемого в литературе Центрально-азиатским или Гималайским<sup>3</sup>. При этом некоторые из черт входящих в него индоиранских языков указывают на субстратное воздействие на них со стороны языков доиндоевропейских.

Из чисто формальных характеристик языков этого ареала, которые могут быть объяснены субстратным воздействием, отметим следующие.

Имеется определенная общность в их фонологическом составе: сложность консонантной подсистемы при относительной простоте вокалической; ареальная закреплённость определенных фонологических рядов, в частности, церебральных целевых (а в особо узком ареале — и аффрикат), в отличие от большинства индоарийских языков, где церебральный ряд включает только смычные<sup>4</sup>, по в соответствии с фонологическим инвентарем неиндоевропейских языков региона, в частности, бурушаски<sup>5</sup>.

Наблюдается определенная ареальная приуроченность некоторых словообразовательных моделей, указывающая, скорее всего, на субстратное начало. Так, характерна модель образования местоимений 2-го лица мн. числа не от древней основы полного или энклитического местоимения, а от основы ед. числа, по схеме \**tu* + *sma* (для подавляющего большинства индоарийских, включая часть дардских: вотапури, тирахи, торвали, башкарлик, майян, пхалура, шина, кашмири) или \**ta* + *hma* (для части иранских: афганского, ормури, шугнано-рушанской группы, язгулямского, ишкашимского), т. е. по модели, которая могла иметь праобразом субстратную модель местоимения «вы», образованного от «ты» присоединением показателя множественности<sup>6</sup> (ср. такое образование в драви-

<sup>2</sup> О месте этих языков среди индоиранских см.: G. Morgenstierne, *Irano-Dardica*, Wiesbaden, 1973, стр. 327 сл.; его же, *Languages of Nuristan and surrounding regions, «Cultures of the Hindukush»*, Wiesbaden, 1974; G. B u d d r u s s, *Nochmals zur Stellung der Nūristān-Sprachen des afghanischen Hindukusch*, «Münchener Studien zur Sprachwissenschaft», 36, München, 1977.

<sup>3</sup> В. Н. Топоров, Несколько замечаний к фонологической характеристике центрально-азиатского языкового союза (ЦАЯС), «*Symbolae linguisticae in honorem Georgii Kurylowicz*», Wrocław, 1965; см. также работы, указанные в примеч. 1 настоящей статьи.

<sup>4</sup> Т. Я. Елизаренкова, Исследования по диахронической фонологии индоарийских языков, М., 1974, стр. 278—280.

<sup>5</sup> И. И. Зарубин, Вершинское наречие канджутского языка, «Зап. Коллегии востоковедов», II, 2, Л., 1927, стр. 283; D. L. R. L o g i m e r, *The Burushaski language*, I, Oslo, 1935, стр. 5—7; Н. В e r g e r, *Das Yasin-Burushaski (Werchikwar)*, Wiesbaden, 1974, стр. 10. Далее материал бурушаски дается по этим источникам.

<sup>6</sup> G. Morgenstierne, *The personal pronouns first and second plural in the Dardic and Kafir languages, «Indian Linguistics»*, V, 4, 1935; В. С. В о р о б ь е в-Д е с я т о в с к и й, Развитие личных местоимений в индоарийских языках, М.—Л., 1956, стр. 25, 27, 64, 83, 112 и др.; Д. И. Э д е л ь м а н, К вопросу о словообразовании местоимений в индоиранских языках, «Индийская и иранская филология (вопросы лексики)», М., 1971. Аргументы против заимствования этих местоимений иран-

дийских языках<sup>7</sup>, гималайских<sup>8</sup> и, по-видимому, в раннем бурушаски (ср. буруш. *uṛ*, вершик. *uṛ* «ты» ~ *ta* «вы»).

Вероятно, субстратной схемой объясняется построение числительных второго десятка по типу «десять + два» = 12 (в отличие от обычного индоиранского «два + десять») в данном ареале (к ваханскому, ряду дардских и прошедшему через ареал цыганскому, где такой порядок связан с аналогичным в бурушаски<sup>9</sup>, можно добавить языки шугнано-рушанской группы и язгулямский). Воздействием субстрата объясняется, очевидно, вигезимальная система построения числительных выше тридцати в большинстве языков ареала, как и в более южных районах Индостана (ср. вигезимальную систему в соседних неиндоевропейских языках, с одной стороны, и децимальную в позднем индоевропейском, а также неавтохтонность здесь индоевропейских языков, с другой).

Можно отметить в этой связи и ряд частных словообразовательных моделей. Так, шугнанская расширенная форма числительного «два» *ḍiyūn* (при первичной *ḍu*), представляющая форму с именным показателем мн. числа, не обусловлена историей иранских языков (в древних иранских и индийском «два» склонялось по парадигме двойств. числа). Употребляясь не только при счете людей, но и предметов, а также при абстрактном счете, она, будучи сходной по форме с классич. перс. *duwān* (в *har duwān* «двое»)<sup>10</sup>, не аналогична ей функционально. По функциям и месту в системе она сопоставима с бурушаски *āto* «два» — формой числительного абстрактного ряда (употребляемого без существительных), являющейся — единственной из всех числительных этого ряда — застывшей формой мн. числа (с именным показателем мн. числа -o).

В словообразовании имен ср., например, ваханские *žamāk* «луна», *ž(ə)yir* «солнце» с сращенным местоименным элементом *žə-* «мой» (ср. местоименные проклитики в языке бурушаски, употребляемые при именах)<sup>11</sup>, *brin* «колени», *brat* «локоть», где *b-* < \**dba-* < \**dva-* «два»<sup>12</sup> (при аналогичной структуре названий членистых частей тела в бурушаски с префиксальным *-lt-* < *āto* «два»). Отмечаются также параллелизмы в словоизменении, служебных словах и элементах и синтаксисе языков шина, кховар, думак, с одной стороны, и бурушаски, с другой<sup>13</sup>.

В лексике наблюдаются определенные семантические сдвиги (иногда сопровождаемые фонетическими перебоями), ср. вах. *yumj* «мука» < \**āmači-* «сырая» и буруш. *dlūḍaj* «мукá» ~ *dlūi* «сырой» (вершик. *dlūḍt* ~ *dlūḍie*)<sup>14</sup>. Возможно, к таким «сдвигам» относится в ряде па-

скими языками из индоарийских см.: F. V. J. Kuiper, [реп. на кн.:] «Melanges linguistiques offerts à E. Benveniste», Paris, 1975, IIJ, 1976, XVIII, 1/2, стр. 99—100.

<sup>7</sup> T. Виггоу, M. В. Емелева, A Dravidian etymological dictionary, Oxford, 1963, стр. 247; М. С. Андронов, Сравнительная грамматика дравидийских языков, М., 1978, стр. 256—260.

<sup>8</sup> «Linguistic survey of India», I, 2, Calcutta, 1928, стр. 34—41 (далее—LSI).

<sup>9</sup> В. М. Бескровный, О влиянии иноязычной среды на индоарийские языки (на материале цыганских числительных), «Народы Азии и Африки», 1974, 4.

<sup>10</sup> Д. Карамшоев, Т. Бахтибеков, Доир ба алокаи лугавиюи грамматикни забонҳои помри ва тоҷики, «Масъалаҳои забоншиноӣ (маҷмуаи мақолаҳо)», Душанбе, 1975, стр. 67.

<sup>11</sup> И. М. Стеблин-Каменский, Ваханское *(žə)māk* («моя» луна) и *(y)imyk* «хвойник» и древнеиранское *hauma-*, «Актуальные вопросы иранистики и сравнительного индоевропейского языкознания. Тезисы докладов», М., 1970.

<sup>12</sup> И. М. Стеблин-Каменский, «Колени» и «локти» памирского субстрата, «Переднеазиатский сборник. История и филология стран Древнего Востока», М., 1979, стр. 213—214.

<sup>13</sup> См., например, D. L. R. Lorimer, Burushaski and its alien neighbours: problems in linguistic contagion, TPhS — 1937, Amsterdam, 1968; е го же, The Dumaki language, Nijmegen, 1939, стр. 49 сл., 139 сл.

<sup>14</sup> И. М. Стеблин-Каменский, «Колени» и «локти» памирского субстрата, стр. 212.

мирских языков (и таджикских говорах Бадахшана) *dawōm*, *dawom*, *dawīm* «начинание» в сложноименных глаголах «начинать» и «начинаться», являющееся контаминацией арабского заимствованного *dawām* через тадж. *davom* «продолжение» с бытовавшим, очевидно, некогда в памирских языках сходным словом «начало». Таковым могло быть субстратное слово, связанное этимологически с буруш. *dūn-*, вершик. *dohon-* «держатъ, хвататъ; начинатъ» (ср. вершик. *ts.hel mīya dohōnīmī* «воду пить начал»<sup>15</sup>), особенно учитывая, что в вершикском глагол часто выступает в этих конструкциях в форме причастия на *-m* или абсолютива *dohon*. При отсутствии в памирских языках фонемы /h/, сходная форма могла быть унаследована из субстрата как \**dowom* (с *w* для преодоления зияния; при заимствовании из таджикского сохранилась бы фонема *v*) и контаминирована с тадж.-араб. *davom*, передав ему значение и видоизменив звучание.

Наблюдается здесь также заметный слой ареальной лексики с не всегда ясным языком-источником того или иного слова, часть которой, видимо, субстратного происхождения<sup>16</sup>. Очевидно, образцы субстратной лексики следует искать и в топонимии, которая далеко не полностью этимологизируется на индоиранской почве.

Схождения, о которых говорилось выше, имеют в основном формальный характер. Однако с точки зрения возможного субстратного воздействия не менее интересны черты языков данного ареала, позволяющие сделать определенные выводы относительно содержательной стороны языковых форм и выявить тем самым элементы того, что нередко называют «речевым» или «языковым мышлением», стоящим за так называемыми «скрытыми категориями»<sup>17</sup>, т. е. элементы, зачастую сохраняющиеся при переходе этноса с одного языка на другой<sup>18</sup>. Именно эти элементы, связанные с содержательной стороной языка, позволяют, как кажется, проследить некоторую систему во множестве структурных аномалий языков ареала. Если принять определение проявления субстрата, данное В. И. Абаевым, как совокупности закономерных «ошибок» среды, переходящей на новый язык<sup>19</sup>, то можно предположить, что, установив принцип, которым эти «ошибки» и «аномалии» объединяются в данную совокупность, мы сделаем шаг к пониманию контенсивно-типологической характеристики языкового субстрата данного ареала.

Заранее следует оговориться, что географическое распределение рассматриваемых элементов, как и элементов чисто формального плана, неоднородно (и неодинаково изучено). Часть их может быть общей для двух и более сопредельных языков (не обязательно ближайше родственных друг другу<sup>20</sup>), другие — разбросаны по единичным языкам. Поскольку в рамках статьи невозможно подробно рассмотреть всю их совокупность, ограничимся некоторыми, на наш взгляд, наиболее характерными.

В отдельных восточноиранских языках, в частности, в афганском, в языках шугнано-рушанской группы, язгулямском, мунджанском, а также в соседящих с ними белуджском и парачи, наблюдается заметная

<sup>15</sup> D. L. R. Logier, *Werchikwar-English vocabulary*, Oslo, 1962, стр. 74.

<sup>16</sup> Список таких слов в ваханском языке был любезно предоставлен автору И. М. Стеблин-Каменским.

<sup>17</sup> С. Д. Кацнельсон, *Типология языка и речевое мышление*, Л., 1972, стр. 7, 16 и др.

<sup>18</sup> В. И. Абаев, *О языковом субстрате*, стр. 66—67; В. Н. Ярцева, *Теория субстрата в истории языкознания*, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», IX, стр. 28—29; Б. А. Серебrenников, *Проблема субстрата*, там же, стр. 41, 52.

<sup>19</sup> В. И. Абаев, *указ.соч.*, стр. 60, 62.

<sup>20</sup> Ср. сходные субстратные кавказские черты в осетинском и армянском: В. И. Абаев, *Armeno-ossetica*.

аномалия в распределении глаголов на классы переходных и непереходных. Некоторые глаголы непереходного характера (т. е. не управляющие прямым дополнением) трактуются как переходные: либо спрягаются по типу переходных, либо образуют эргативообразные конструкции предложения. Это глаголы типа: «вздыхать», «чихать», «кашлять», «смеяться», «улыбаться», «плакать», «тошнить», «умирать», «жадничать», «гордиться», «расти», «становиться»; «прыгать», «бегать», «приближаться», «садиться», «кочевать», «плясать», «играть», «купаться», «убегать»; «лаять», «мяукать», «выть», «кукарекать», «блеять» и др., а также глаголы со значением физических отправлений и пр., иными словами, непереходные глаголы, обозначающие деятельность живого существа. Наиболее полный список таких глаголов для иранских языков засвидетельствован в афганском (35 лексем)<sup>21</sup>. Несколько меньшее число отмечено в мунджанском — зафиксированы: «смеяться», «плакать», «кашлять», «тошнить», «соглашаться», «лаять», «испражняться», «стоять», «выпадать (об осадках)», «стучать», «бранить(ся)» и др.<sup>22</sup>. Вхождение в эту группу глагола «выпадать (об осадках)» объясняется тем, что ряд явлений природы (осадки, радуга, движение светил, гроза и пр.) воспринимались древними как проявление живого начала, что отражалось в языке. Примеры оформления глаголов этой группы (или конструкций с ними) по переходному типу встречаются в ряде памирских языков, ср.: язг. *im wiyūd yo dim?* «она (эта) плакала или она (та)?» *im-ja wiyūd, dim-ja* «и она плакала, и она»; *mīn-anə na-xant* «я не смеялся, правда?»; руш. *uf dad pa way bolt* «тогда они побрали его» (букв. «побрались на него»); барт.: *uf-af newd* «они плакали»; шугн. *yu-yi piršt* «он чихнул», *yu yida-(y)i šinč* «мальчик засмеялся»<sup>23</sup> и т. п. Ср. глаголы этого типа в парачи («садиться», «умирать», «плакать») <sup>24</sup>, белуджском («смеяться», «бежать», «чихать», «лаять» и др.) <sup>25</sup>. Столь же «аномальны» подобные глаголы в языках дардской группы (отмечены в кашмири, шумашти, диалектах пашаи)<sup>26</sup> и собственно индоарийских (прослежены в хинди, ассамском, маратхи, языке среднеазиатских парья)<sup>27</sup>. Несомненно, более исчерпывающее исследование этих языков пополнит список как глаголов данной группы, так и языков, знающих эту «аномалию».

Любопытны аналогичные отклонения в оформлении глаголов той же семантической группы в вымерших иранских языках региона — согдийском («приближаться», «садиться», «становиться», «рассветать» и др.)<sup>28</sup> и сакском («жить», «достигнуть nirваны», «приходить», «схать верхом», «плакать», «сбиться; потерпеть неудачу», «становиться, быть», «расти», «спать», «оставаться»). В свое время С. Конов выделил эту группу глаголов в сакском, охарактеризовав их как «такие непереходные, которые

<sup>21</sup> Н. А. Дворянков, Язык пушту, М., 1960, стр. 70—71.

<sup>22</sup> В. С. Соколова, Генетические отношения мунджанского языка и шугнапо-язгуляимской группы, Л., 1973, стр. 76, 100, 101 и др.

<sup>23</sup> См. примеры: М. Файзов, Язык рушанцев Советского Памира, Душанбе, 1966, стр. 76, 152; Д. И. Эдельман, Язгуляимский язык, М., 1966, стр. 40, 155; Н. Карамхудоев, Бартагский язык, Душанбе, 1973, стр. 153. Шугнанские примеры любезно сообщены Д. Карамшовым.

<sup>24</sup> G. Morgenstierne, Indo-Iranian frontier languages (далее IIFL), I, Oslo, 1929, стр. 96.

<sup>25</sup> В. А. Фролова, Белуджский язык, М., 1960, стр. 48.

<sup>26</sup> См., например, IIFL, III, 1, 1967, стр. 67, 69; G. Morgenstierne, Notes on Shumashti, NTS, XIII, Oslo, 1945, стр. 250; G. A. Grierson, Essays on Kāçmirī grammar, London, 1899, стр. 107, 204, 214, 219, LXXXVII—LXXXIX.

<sup>27</sup> Г. А. Зограф, Морфологический строй новых индоарийских языков, М., 1976, стр. 206; И. М. Оранский, Фольклор и язык гиссарских парья (Средняя Азия), М., 1977, стр. 83.

<sup>28</sup> I. Gershevitch, A grammar of Manichean Sogdian, Oxford, 1954, стр. 130.

имеют усиленно активное значение»<sup>29</sup>. К сожалению, его формулировка не была должным образом оценена и даже подверглась резкой критике с позиций отнесения этих «исключений» к формальному распространению переходного типа спряжения на переходные глаголы<sup>30</sup>. Однако семантическая характеристика данных глаголов и сопоставление их с аналогичными глаголами других языков ареала свидетельствует о правоте С. Конова («обратное исключение» — глагол *bud-* «сознавать, знать, понимать», спрягающийся по переходному типу, — лишь кажущееся: *verba sentiendi*, к которым относится *bud-*, во многих языках трактуются как переходные или образуют особую группу).

Характерно наличие такого же отклонения в бурушаски (прослежены глаголы «опьянеть», «лечь спать», «прибывать», «смеяться»)<sup>31</sup>.

Таким образом, в языках данного ареала отмечается совершенно определенная черта — связь группы глаголов, обозначающих деятельность живого существа, с переходными глаголами. В каждом из этих языков данная группа образует исключение из общих морфологических и синтаксических правил оформления переходности/непереходности, однако единообразие семантики и повторяемость этих глаголов по языкам приводит к мысли, что это явление — не случайность. Оно может указывать на определенный семантический принцип деления глагольной лексики, основанный на противопоставлении не (или не только) переходности/непереходности, а живого/неживого или одушевленного/неодушевленного субъекта действия. (Сходное явление прослежено И. И. Цукерманом в курдском языке, где оно, однако, не сопровождается другими «аномалиями», о которых будет сказано ниже.)

Для ряда языков ареала характерно наличие двух различных лексем связки 3-го лица — при одушевленном и при неодушевленном субъекте. Они отмечаются в нескольких дардских языках (пашай, шумашти, кховар, калаша)<sup>32</sup>, одном иранском (парачи)<sup>33</sup>. Лексическое противопоставление одушевленности/неодушевленности в связке (ср. калаша: наст. вр. ед. числа *asou ~ šiu*, мн. числа *asan ~ šian*, прош. вр. *asis ~ ašis*, *asini ~ ašini*; парачи: *(h)a ~ si* и т. п.) не вытекает из общеарийской системы (хотя обе лексемы этимологически исконны). Вместе с тем особая форма связки при именах IV класса (исторически — неживых) имеется в бурушаски.

В некоторых языках этого региона, например, в дардских — кашмири, шумашти и др., существует ряд глаголов, обозначающих качество, типа «быть красным», «быть большим», «быть горьким», «быть горячим» и т. п. (например, кашм. *wazal-* «быть красным», *pōṭh-*, *vyath* «быть жирным», *g°ab-* «быть тяжелым», *lōk-* «быть маленьким», *chat-* «быть белым», *tat-* «быть горячим», *ṭyaṭh-* «быть горьким», *thad-* «быть высоким» и т. д.). При наличии в общеарийском богатой системы прилагательных как отдельной части речи с развитой словоизменительной системой и при том, что во многих языках индоиранской семьи прилагательные имеют тенденцию к смыканию с существительными, возникновение в таком узком ареале данных глаголов как категории нерасчлененного предиката едва ли объяснимо естественным развитием общеарийского прилагательного. Это — исключение, которое можно сопоставить с аналогичной группой

<sup>29</sup> S. K o n o w, *Primer of Khotanese Saka*, NTS, XV, Oslo, 1949, стр. 50.

<sup>30</sup> R. E. E m m e r i c k, *Saka grammatical studies*, Oxford, 1968, стр. 221.

<sup>31</sup> D. L. R. L o r i m e r, *The Burushaski language*, стр. 199 и др.

<sup>32</sup> IFL, III, 1, 1967, стр. 100, 176, 229, 274; G. M o r g e n s t i e r n e, *Some features of Khowar morphology*, NTS, XIV, Oslo, 1947, стр. 25; е г о ж е, *Notes on Kalasha*, NTS, XX, Oslo, 1965, стр. 219—224; е г о ж е, *Notes on Shumashti*, стр. 255.

<sup>33</sup> IFL, I, 1929, стр. 81—82.

глаголов в гималайских языках и бурушаски (в дравидийских они являются в позднюю эпоху).

В отдельных языках отмечены вторичные лексемы местоимения 1-го лица мн. числа, противопоставленные по инклюзивности/эксклюзивности. В иранских языках — язгулямском и белуджском — эта оппозиция выглядит как инклюзивное/общее, ср.: язг. *az-tow* «мы с тобой» (букв. «я-ты») ~ *tox* «мы (вообще)»; бел. *mašmā* «мы с тобой», «мы с вами» (букв. «я-вы») или «мы-вы») ~ *amta* «мы (вообще)»<sup>34</sup>. Такое явление отмечено и в отдельных индоарийских языках. В неиндоевропейских языках данного ареала — гималайских, дравидийских (а также в мунда) противопоставление инклюзив/эксклюзив распространено почти повсеместно<sup>35</sup>. Общеарийская система не знала этого противопоставления, основанного на участии/неучастии собеседника в ситуации, а спонтанное развитие системы едва ли могло бы его выработать.

В отдельных языках ареала особое выражение получила оппозиция отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности. В неявном виде она проступает в большинстве индоиранских языков — в обычном употреблении терминов неотчуждаемой принадлежности с определителем (местоимением или энклитикой), при том, что остальные имена принимают его факультативно в зависимости от смысла высказывания. В некоторых же языках ареала эта оппозиция выражается также синтаксически — порядком компонентов предложных сочетаний.

Так, в части восточноиранских языков — в большинстве памирских, включая мунджанский, — принадлежностное сочетание с предлогом строится обычно в последовательности: предлог — препозитивное определение — определяемое (типа язг. *ən ni kūd* «в моем доме»). В афганском и сарыкольском (единственном из шугнано-рупанской группы) предлог оказывается внутри такого сочетания (афг. *də duw rə baḡ ki* «в их саду»). Такое различное положение предлога в родственных языках естественно, если учесть, что в общеарийском, общеиранском и даже в более поздние эпохи место служебных слов не было закреплено, и фиксация его была относительно поздней.

Однако, в отдельных языках первого типа — в йидга и большинстве языков шугнано-рупанской группы — отмечаются случаи постановки предлога внутри принадлежностного сочетания (с постепенным превращением его в префикс). Подобных случаев немного, и все они связаны с неотчуждаемой принадлежностью: с названиями частей тела, сторонами (перед, бок и т. п.) и неотделимыми от человека понятиями (память, разум, сон и т. п.), ср.: шугн. *tu tar dust* «в моей руке», *xu tar bist* «себе за пазуху», *tu ba uōd* «в моей памяти», *tu pi pōd* «на твоей ноге», *wi pi tanā* «на его теле»; руш. *xu par cāmēn* «своими глазами»; барт. *xu tar dōst* «на свою руку»; йидга *mən tra zil* «в моем сердце» (ср. шугн. *tar xu čīd*; йидга *də x(w)oi kyēi* «в свой дом»). Эта конструкция для современных языков составляет архаизм и часто нарушается (хотя отмечаются случаи лексикализации сращения имени с таким «префиксом» и превращения его в послелог, ср.: руш. *šār pa-kāl* «над городом»; йидга *nā-mən da-pīr* «передо мной»). Сходные построения отмечаются и в других языках ареала (ср. вайг. *ī a-kār* «в мое ухо»).

Передача оппозиции отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности различной фиксацией предлога может объясняться тем, что некогда —

<sup>34</sup> С. Н. Соколов, Язык белуджей Советского Союза, «Труды Ин-та языковедения АН СССР», VI, М., 1956, стр. 69.

<sup>35</sup> М. Маспело, Notes sur la morphologie du tibéto-birman et du munda, BSLP, 44, 1, 1948, стр. 175. М. С. Андронов, указ. соч., стр. 250—256; Г. А. Зограф, указ. соч., стр. 156.

в протошугнанском языке и в раннем состоянии ряда других языков — термины неотчуждаемой принадлежности употреблялись неизменно с местоименными энклитиками, благодаря чему препозитивное определение, выраженное полным местоимением (или именем), оказывалось пролептическим, не входившим в данную синтаксическую группу (возможна трактовка его и как косвенного дополнения: «У меня в моей-руке»). Именно такие конструкции с терминами неотчуждаемой принадлежности отмечаются в других языках ареала (например, в шумашти). Остальные имена выступали либо с энклитиками, либо с препозитивными определениями — полными местоимениями или именами, которые здесь уже не были пролептическими, а являлись компонентами определительного сочетания, выступающего как целостная синтаксическая группа, оформленная стоящим перед ней предлогом. Такое положение сохранилось в большинстве языков шугнано-рушанской группы (кроме сарыкольского, где обобщился второй тип) и в йидга даже после исчезновения приименных энклитик (в вайгали сохранившиеся приименные энклитики примыкают к именной основе, предворяя падежные форманты, ср. обратный порядок в мунджанском, где генерализовалась первая конструкция).

Облигаторность энклитик при терминах неотчуждаемой принадлежности и спаянность их с основой, т. е. эксплицитное выражение этим путем соответствующей грамматической категории, не вытекающее из праязыковой системы, находит прямую аналогию в бурушаски. Здесь явная оппозиция отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности передается факкультативностью/обязательностью проклитических показателей лица и (для 3-го лица) класса обладателя (ср. проклитики в языке прасун). Здесь же характерны конструкции с пролептическим полным местоимением типа *ja a-riŋ-ulo* «в моей руке» (букв. «моя моя-рука-в»). Аналогичные конструкции языка-субстрата могли способствовать становлению рассмотренных конструкций в данных языках.

Интересно, что само наличие оппозиции разных типов принадлежности снова приводит нас к противопоставлению одушевленных/неодушевленных, так как она может быть присуща только одушевленному (особенно если учесть, что термины родства, часто приложимые и к животным, оформляются здесь по первому типу, т. е. как понятия отчуждаемой принадлежности).

В рассматриваемом ареале отмечается необычный для индоиранских языков факт переориентации категории рода с грамматической основы на семантическую. Обычно общесарийская категория рода в современных индоиранских языках либо исчезает, либо сохраняется в виде такой же грамматической категории, базирующейся в существительных, как и в древнюю эпоху, на огласовке или исходе основ (хотя и с конкретными изменениями в разных языках). Однако в севернопамирских языках налицо очевидные отклонения: в язгулямском эта категория полностью перестроилась на семантическую основу и стала по существу семантическим классом: все имена, обозначающие мужчин и предметы, независимо от типа основ, относятся здесь к так называемому «мужскому» роду, имена, обозначающие женщин и всех животных, независимо от пола, — к «женскому» (термин «род» здесь фактически имеет уже чисто этимологический смысл — «мужской» образовался из слияния исторического мужского со средним, неодушевленным, «женский» вобрал названия животных, включая такие, как *γew* «бык», *bač* «козел» и пр.). Видоизменяется категория рода и в соседней шугнано-рушанской группе. При сохранении здесь старого принципа — членения по родам, в зависимости от огласовки основ имен, — наблюдаются отклонения, связанные с пересечением категории рода имен неодушевленных с категорией единичного/



/общего, конкретного/отвлеченного и т. п. Имена, обозначающие неодушевленные предметы и относящиеся по типу основ к жен. роду, в случаях, когда они выступают как обобщенные названия групп однородных предметов, меняют род на мужской, ср. руш. *dum māwn tu-r dāk* «дай мне то (жен. род) яблоко», *day māwn tar bōzōr yōs* «отвези те яблоки (букв., „то“ — муж. род — „яблоко“) на базар»<sup>36</sup>. Наблюдаются и иные семантические критерии отнесения субстантивов к тому или иному роду<sup>37</sup>. При этом ряд существительных в условиях двойственности их семантики может, не меняя формы, иметь различную родовую отнесенность. Например, при общей тенденции отнесения названий участков возделываемой земли к жен. роду, в шугнанском и бартангском языках имена *māḫ* «горох», *žindam* «пшеница», шугн. *čūšč*, барт. *čōšč* «ячмень», относящиеся в значении «зерно» к муж. роду, обозначая засеянный данной культурой участок, выступают в жен. роде<sup>38</sup>. Имеется ряд других примеров двойной родовой отнесенности существительных<sup>39</sup>.

Практически этот процесс знаменует перестройку родового распределения имен с формальной базы на семантическую, т. е. классную.

Распределение существительных не по родам, связанным с внешним обликом основ (или не только по родам), а по семантическим классам было свойственно доиндоевропейским языкам ареала. Оно прослеживается в дравидийских языках<sup>40</sup> и в бурушаски. Однако в современных дравидийских языках основой деления на классы является семантический критерий лица/не-лица, или человека/не-человека (с подразделением имен, обозначающих лицо, на группы муж и жен. рода)<sup>41</sup>. Такой же принцип членения имен, выражаемый в типах согласования и в вопросительных местоимениях, наблюдается практически во всех живых иранских языках.

В бурушаски же система четырех классов: I — мужчин, II — женщин, III — животных и отдельных предметов, IV — остальных предметов, веществ и абстрактных понятий, — обуславливает более сложную схему оппозиций. Здесь наблюдаются, в частности, случаи двойной классной отнесенности имен, в зависимости от оттенка семантики (единичное/общее, предмет/вещество или абстрактное понятие, плод/дерево и т. п.), к III или к IV классу (ср. *yašil* «палка» — III кл., «дрова» — IV, *bālt* «яблоко»; — III кл., «яблоня» — IV; *baiyu* «каменная соль» — III кл., «зернистая соль» — IV; *baḡundo* «лепешка из заквашенного теста» — III кл., «заквашенное тесто» — IV и т. п.), что прямо перекликается с аналогичным явлением у неодушевленных существительных в шугнано-рушанской группе. Иными словами, принадлежность ряда имен неодушевленных к жен. (герс. муж.) роду в шугнано-рушанской группе является, как и принадлежность аналогичных имен к III (герс. IV) классу в бурушаски, своего рода маркером семантического регистра первого (герс. второго) порядка

<sup>36</sup> В. С. Соколова, Рушанские и хуфские тексты и словарь, М.—Л., 1959, стр. 108; ср. е е же, Шугнано-рушанская языковая группа, «Языки народов СССР», I, М., 1966, стр. 374; Д. Карамшоев, Категория рода в памирских языках (сравнительный анализ). АДД, М., 1979, стр. 28.

<sup>37</sup> См. списки слов по родам в конкретных описательных работах Д. Карамшоева, Н. Карамхудоева, Х. Курбанова, М. Файзова и др.; обобщение см.: Д. Карамшоев, Проблемы категории рода в памирских языках, ВЯ, 1979, 5, стр. 99—100.

<sup>38</sup> Д. Карамшоев, Баджувский диалект шугнанского языка, Душанбе, 1963, стр. 99; Н. Карамхудоев, указ. соч., стр. 59.

<sup>39</sup> Подробнее см.: Д. Карамшоев, Категория рода, стр. 27 сл.

<sup>40</sup> О связи рода с единичностью/общностью, противопоставлении в протодравидийском одушевленных/неодушевленных и других семантических групп см.: Н. В. Гуров, Именное склонение в дравидийских языках и микропарадигма протоиндийских текстов (опыт сопоставления), «Сообщения об исследовании протоиндийских текстов», I. Proto-Indica: 1972», М., 1972, стр. 110—118.

<sup>41</sup> М. С. Андронов, указ. соч., стр. 169—173.

(реализуемых как значения конкретного/абстрактного, предметного/отвлеченного, единичного/общего и т. д.), в котором выступает данное имя в данном контексте.

В бурушаски имеется также оппозиция лица/не-лица (выражаемая противопоставлением первых двух классов последующим), и уже в стертом виде прослеживается более старая оппозиция живого/неживого, наблюдаемая в следующем: III класс включает и теперь, кроме названий животных, названия фруктов, деревьев и их частей, частей тела и названия некоторых космических и природных явлений — словом, всего того, что, не являясь человеком, относится все же к живому миру, характеризующемуся жизненным циклом, либо примыкает к последнему. В настоящее время сюда входит и ряд других имен, но, как полагают, они вошли позднее, и первоначальное значение III класса — именно класс живых существ, растений и природных явлений, осмысливавшихся первоначально в качестве живых, в противоположность IV классу, объединяющему названия предметов и понятий неживого мира<sup>42</sup>. При этом по ряду ведущих морфологических показателей (форм мн. числа существительных, классных форм прилагательных и глаголов и др.) основной оппозицией в бурушаски является оппозиция IV класса трем первым, т. е. первоначально — оппозиция неживых живым.

Известно, что оппозиция лица/не-лица в современных иранских и части индоарийских языков, построенная на признаке социальной активности, является относительно поздней: ей предшествовала оппозиция одушевленности/неодушевленности, засвидетельствованная в общеарийском различием/именных парадигм. И тот факт, что перестройка системы рода в севернопамирских языках проявилась (в язгулямском — прежде всего, а в шугнано-рушанской группе — как один из процессов) в отрыве названий животных от названий неодушевленных предметов, лишний раз свидетельствует о наличии здесь неявной категории одушевленности/неодушевленности.

Естественно, что не все предположительно субстратные черты языков данного ареала уже выявлены — в отношении семантических категорий это особенно трудно сделать, учитывая слабую изученность многих рассматриваемых языков и труднодоступность материала. Несомненно, со временем будет пополняться как состав таких черт, так и список прослеживаемых их языков. Однако даже приведенный краткий обзор отдельных «аномалий» позволяет сделать некоторые выводы. Рассмотренные черты — как формальной структуры, так и содержательной, — не встречаются одновременно, все в совокупности, ни в одном из индоиранских языков данного региона и, следовательно, не образуют здесь в настоящее время реальной системы. Они не вытекают с необходимостью из закономерностей спонтанного развития общеарийской структуры и, следовательно, могут быть результатом изменений, вызванных соответствующими структурами языкового субстрата.

Совокупность формальных структурных изменений, обусловленных субстратом, дает некоторое представление о строении определенных подсистем субстрата (его фонологического облика, строения числительных, местоимений, словообразовательных моделей имен, лексических элементов, связанных с определенными реалиями, понятиями и т. п.).

Совокупность же аномалий содержательного характера показывает, что все они являются как бы слепками с осколков единой весьма последовательной в содержательном плане системы, базировавшейся на детерми-

<sup>42</sup> D. L. R. Logimer, *The Burushaski language*, стр. 20—25.

нанте активности/инактивности с некоторыми колебаниями внутри нее: от общей «живой/неживой», или «одушевленный/неодушевленный» к частной «активный/инактивный в данной ситуации». Если предположить, что данная система была присущей языковому субстрату, придется признать, что бытовавшие здесь доиндоевропейские языки по своему типу напоминают языки активного строя, в которых признак активности/инактивности дает проекции на разные уровни.

В самом деле, следы членения глаголов не по переходности/непереходности, а по одушевленности/неодушевленности деятеля, разные лексемь-связки для одушевленного и неодушевленного субъекта говорят о противопоставлении глагола в этой субстратной системе именно по этому признаку. Наличие глаголов со значением качества (типа «быть высоким») вообще характерно для языков активного строя, где отсутствует самостоятельная категория прилагательного. Оппозиция отчуждаемой/неотчуждаемой принадлежности имеет явное выражение в языках активного строя, отделяя имена одушевленные, имеющие ее, от неодушевленных, которые ее не знают. Наблюдаемые в ряде языков ареала различия в парадигме существительных, обозначающих одушевленные и неодушевленные денотаты (не рассмотренные здесь из-за недостатка места), могут объясняться тормозящим в данном случае влиянием субстрата, сохранявшим на какой-то период оппозицию, оформившуюся в индоевропейский период<sup>43</sup> и продолжавшуюся в общеарийский.

Наличие именных классов также характерно для языков активного строя, где они являются одной из наиболее существенных импликаций активности, делящей все субстантивы на активные и инактивные (с модификациями, о которых говорилось выше). В этом отношении бурушаски, с его системой классов и первоначальной оппозицией «живой/неживой» ближе к прототипу, чем дравидийские. И, наконец, противопоставление инклюзива/эксклюзива или инклюзива/неинклюзива характерно для такой модификации детерминанты, где ведущей оказывается ситуационная активность/инактивность (или включенность/невключенность) собеседника.

Таким образом, складывается впечатление, что субстрат должен был обладать чертами активной типологии. В этом плане он может быть сопоставлен прежде всего с бурушаски<sup>44</sup> и гималайскими языками, выявляющими и сейчас черты активного строя или их формальные рудименты. В ряде случаев сходные признаки обнаруживают и ныне номинативные дравидийские языки, однако влияние их на индоиранские в рассматриваемом ареале могло быть меньшим (или опосредованным). Если учесть, что общеарийское состояние должно было, судя по языкам древнеиранских и древнеиндийских памятников, характеризоваться номинативной типологией, в которой одушевленность/неодушевленность выявлялась остаточным, на периферии именной парадигмы, то развитие центральных и периферийных признаков активной типологии в языках этого ареала в последующие эпохи едва ли могло быть спонтанным.

Относительно позднее появление или проявление субстратных черт не является чем-то исключительным, свойственным только данному региону. Оно отмечено во многих других районах мира и характерно для тех случаев, когда ныне представленные в них языки развивают тенденции, которые задолго до этого мог катализировать либо даже за-

<sup>43</sup> Г. А. Климов, Типология языков активного строя и реконструкция индоевропейского, ИАН СЛЯ, 1973, 5.

<sup>44</sup> О субстратной роли бурушаски см. также: LSI, VIII, pt. II, Calcutta, 1919, стр. 6; В. И. Абаев, Осетинский язык и фольклор, I, М.—Л., 1949, стр. 589.

ложить заново строй субстрата<sup>45</sup>. Возможно, и элементы содержательного характера, будучи весьма стойкими, могут сохраняться особенно долго в неписьменной среде, прорываясь в письменный язык значительно позднее.

Из всего сказанного можно сделать еще один вывод: типологические аномалии в общей структуре генетически родственных языков данного ареала дают ценный материал для установления структуры языкового субстрата не только в плане его частных подсистем, но и в плане его целостной типологической характеристики.

---

<sup>45</sup> См.: В. И. Абаев, О языковом субстрате, стр. 63—64; его же, Типология армянского и осетинского, стр. 27; В. Н. Ярцева, указ. соч., стр. 20—21; Р. И. Аванесов, Выступление, «Докл. и сообщ. Ин-та языкознания АН СССР», IX, стр. 110; см. также: А. Мартине, Структурные вариации в языке, «Новое в лингвистике», IV, М., 1965, стр. 452—453.